НОВОЧЕРКАССК

*Повесть в рассказах*

Плохая жаба

– Ты всё, батюшка, в одной поре, – говорили Троне нищенки, сидевшие на паперти Войскового собора. Троня тоже там иногда сидел среди нищенок –
сидел спокойно, прямо, положив руки на колени и глядя куда то в пространство соборной площади, открытой ветру и солнцу. Он мог часами сидеть так, не обращая внимания ни на нищенок, ни на добротно одетых старух, которые терпеливо и аккуратно, стараясь не заслонять ему зрелища, топтались рядом с ним, протягивая ему время от времени маленькие узелки, зажатые в ладонях.

– Возьми у меня, Трофим... У меня возьми, – повторяли старухи тихо и монотонно, опасаясь Троню спугнуть: в любую минуту он мог подняться и уйти от собора прочь, не взяв узелок ни у кого.

В узелках были завернуты жабы.

Троня вдруг вставал решительно – так, словно собирался двинуться в путь. Но никуда не двигался. Выхватывал узелок у какой-нибудь старухи, разворачивал жабу и поднимал её высоко двумя руками за передние лапки. Какое-то время он смотрел на нее с интересом. А потом вдруг шмякал её о гранитные ступеньки, так, что она разлеталась в брызги, и говорил старухе быстро-быстро:

– Плохая у тебя жаба, скоро сдохнешь, иди домой, становись коромыслом, жопу печке показывай!

И старуха отходила, нисколько не обижаясь на Троню; пятилась вниз по ступенькам, кланялась – благодарила его за верную весть.

Благодарили Троню и другие старухи – те, которых он бил живой жабой по лбу и по щекам.

– Благословляет! – радостно объясняли они друг дружке. – Ещё поживем.

– А сам-то он – сколько живёт? – спрашивал я у старух, пользуясь случаем: бабушка иногда посылала меня к собору, чтобы я отыскал там Троню и довёл его до дома, – ей воображалось, что Троня, любивший ходить по улицам скорым шагом и в одном направлении, нечаянно выйдет из города в степь по Крещенскому спуску и будет идти и идти – до Кавказских гор, до Чёрного моря.

– А ты вот у него самого и узнай – сколько... Или – у бабушки своей, – мирно отвечали мне одни. Другие же отвечали недружелюбно.

– Нисколько. Никогда не рождался, никогда не умирал, – говорили. – Ступай себе, ступай...

Но я и не думал «ступать». Позабыв о бабушкином поручении, я принимался дразнить неприветливых старух.

– Все рождаются и умирают, – пререкался я с ними. И азартно крутил им дули в ответ на их возражения; пугал их плохими жабами, особенно ту –
маленькую, остроносую, с индюшачьими щеками, катавшимися по воротнику черного бархатного жакета, – которая тараторила злее всех, мотая головой и ругая меня «малахольным чёртом».

– Вот увидишь, – пообещал я ей однажды, – завтра Троня твою жабу так хлобыстнет, что она и квакнуть не успеет!

Но назавтра Троня к собору не пришёл.

Помню, в тот день Фирс разбудил меня чуть свет. Я спал во дворе на топчане под вишней, и снился мне, быть может, только первый сон, потому что до глубокой ночи, забравшись на крышу высокого каменного сарая с тремя арочными дверями и множеством квадратных окошек под самой крышей (когда-то давно – когда бабушка Анна была гимназисткой – этот сарай был конюшней), я разглядывал луну в тот вожделенный древний телескоп на чугунной ножке, который беспризорно кочевал по всей округе – скакал по Кавказской и по Почтовой; не раз поднимался вверх по спуску Разина до самой Архангельской, до её щеголеватых домов, красовавшихся вблизи Атаманского сада; едва не сгинул где-то на нижних дремотных улицах у берегов Аксая и таки очутился у меня, выменянный на стайку жемчужных гурами.

Растолкав, Фирс затащил меня – ещё полусонного – по шаткой деревянной лестнице на крышу сарая, туда, где я ночью оставил телескоп и откуда днём хорошо виделись и левый берег Аксая, огибающего город с юга, и все аксайское займище, поросшее камышами и низкими ивами, и гладкая – без камышей, без ив, – ясная степь за займищем, бледно и ровно желтевшая до берега Дона, до пёстрого края утренних небес.

Фирс одной рукой отчаянно тряс в воздухе, указывая ею высоко в степь; другой – он шевелил мою голову, то приподнимая её, то опуская, – нацеливал мои глаза, пока я наконец не разглядел у самого горизонта, там, где уже чувствовался яркий свет от невидимого Дона, человеческую фигурку.

– Ква-ква! – вдруг прозвучало у моего уха. И я, окончательно пробуждаясь, мгновенно вспомнил, как вспоминают ускользающее сновидение, и вчерашних жаб, и маленькую старуху в засаленном бархатном жакете, и невыполненное бабушкино поручение, и свое страшное обещание той старухе – тоже невыполненное.

– Ква-ква!

Это говорил Фирс, умевший произносить некоторые звуки.

«Ква-ква» – так он называл Троню, умевшего предсказывать по жабам жизнь и смерть...

Как у латыша

Троне было... не знаю, сколько лет. Никто не знал. Нельзя было этого определить. Иногда я присматривался к нему, и мне казалось, что лет ему столько же, сколько соседскому древнему деду Корнею Манилову, давно уже разучившемуся толком бодрствовать, но ещё не избавившемуся окончательно от лютой своей непоседливости, которая каждое утро выгоняла его вон из дома с ведром или с сумкой на средину улицы, где он и дремал до вечера, выставив ногу далеко вперед.

В другие минуты, бывало, я говорил себе, украдкой разглядывая Троню, что он нисколько не старше здоровенного, с длинным лицом латыша, который квартировал круглый год без дров и без угля у бабушки моей, Анны, в прохладных низах – нижних, наполовину утопленных в землю комнатах – и который так и приманивал к её дому окрестных балдушек, потому что весь был покрыт рыжей шерстью, мелко на нем кучерявившейся от весёлой натуры и молодости.

Порой я целыми днями развлекал себя тем, что разгадывал возраст Трони. Но развлечение это, не прельщавшее, к моему огорчению, никого, кроме немого Фирса – он сидел вместе со мною на корточках возле палисадника и азартно разглаживал пыльную кашицу на тропинке, готовя место для новой цифры: «18», ещё более невероятной, чем прежняя: «90», нарисованная им же, – это развлечение только и делало, что развлекало. Никаких устойчивых результатов оно не приносило, потому что сравнивать Троню по возрасту можно было с кем угодно – хоть с латышом, хоть с дедом Корнеем, хоть с Фирсом, писавшим, указывая на себя, – «35».

Сам Троня от этих сравнений не менялся. Вовсе не менялся.

Не менялся никак – ни молодел, ни старел. Всегда был одинаковый – в бумазейной тёплой рубашке зелёного цвета, застёгнутой на все пуговички под самое горло, и в коричневых полотняных брюках, подпоясанных узким кожаным ремешком очень высоко, чуть ли не под мышками; тонкие губы его всегда были крепко сжаты, всегда были растянуты в прямую линию, а выпуклый сморщенный подбородок беспрестанно вздрагивал – так, что если смотреть только на губы и подбородок, не заглядывая в безмятежно приветливые, крошечные Тронины глаза, глубоко запрятанные в тёмных глазницах под высоким и гладким лбом, то можно было нечаянно подумать, будто Троня чем-то сильно обижен и будто бы он подыскивает злобным умом в отместку за эту обиду дерзкое слово, которое он вот сейчас и выпалит.

Нет, конечно же, в каком то времени, о котором даже бабушка Анна, отличавшаяся от своих младших сестер, моих двоюродных бабок, Наты и Ангелины, не только жизнерадостной набожностью, но и особого рода, жизнетворной, памятью, рассуждала сбивчиво, называя его то временем атамана Самсонова – «покойного», говорила она, как будто Самсонов упокоился в прошлую пятницу в своём доме на Троицкой площади, именуемой отчего то площадью Октябрьской Революции, то временем этой самой революции, то временем после неё, – в каком то времени существовал, должен был существовать такой день, когда Троня появился на свет.

Но Троня о таком необычном времени и о таком особенном дне не имел ни малейшего представления. А поскольку жил он во все времена один – на Кавказской улице в Новочеркасске, на чётной её стороне, густо заросшей чайными розами и кустами дикой жердёлы, прямо напротив дома бабушки Анны, то и спросить о том, сколько Троне лет, было не у кого. Да и кому бы это и для чего могло понадобиться – выведывать, старый Троня или молодой? В округе просто все знали, что вот, есть Троня.

Бабушка Анна ласково называла его – если говорила о нём заглазно –
Тронечкой блаженным. В глаза же обращалась к нему обыденно, без всякой ласковости – Троня, Трофим. Разговаривала с ним различно: когда – вежливо, когда – шутливо, когда – взыскательно. Так же, как и со мной. Если же мне случалось назвать Троню Троней-дурачком – а случалось это обычно тогда, когда для какой-то неясной цели, для того, чтобы оживить событием бесплодный послеполуденный час, посеявший дрёму по всей округе, я подзывал к высоким парадным дверям бабушкиного дома Троню, шагавшего неизвестно куда по улице, приоткрывал двери и громко, во весь голос, так, чтобы бабушка могла меня расслышать из отдалённых комнат, сообщал: «К нам Троня-дурачок пришел!» – если это случалось, то бабушка как-то чересчур уж быстро появлялась в передней, куда я едва успевал войти вместе с Троней, осторожно подталкивая его в спину, чересчур уж быстро сбегала вниз по истёртым каменным ступенькам, сплошь усеянным фиолетовыми, рубиновыми, изумрудными и медовыми пятнами света, перенявшего окраску витражных стекол в круглом окне над дверью, и так же быстро, казалось, гораздо быстрее, чем эти пятна замирали на прежних местах, скользнув по бабушкиному платью, награждала меня за моё сообщение зычными подзатыльниками – одним... другим... третьим, – говоря Троне:

– Не слушай его, Трофим! Это он – дурачок. А ты – умный.

Троня искренне радовался такому обороту дела. Он бил себя по затылку обеими ладонями (изображал моё наказание) и весело восклицал:

– Так его, бабушка! Так его, так его! Он – дурачок, а я – умный!..

– И богатый! – вдруг добавлял он важно. И бабушка замирала. Испуганно настораживалась, предчувствуя что-то недоброе.

И недоброе случалось.

Троня запускал руку в свой необыкновенно глубокий – до колена – карман, вытаскивал оттуда железный рубль, вертел его пальцами высоко над головой и объявлял:

– Вот, бабушка, у меня рублик! А у него – как у латыша – хрен да душа!

«Хрен да душа!.. хрен да душа!..» – доносилось уже с улицы, с её противоположной – жаркой, солнечной – стороны, по которой Троня быстро шагал куда то сквозь мутно лоснящийся воздух, продолжая свой бодрый путь наперекор полуденному зною.

Вареник счастья

В рождественскую ночь к бабушке Анне приходили колядовать ряженые со всей округи.

Приходил немой Фирс, переодетый в толстую бабу так ловко, – щёки нарумянены, на голове по бокам скрученные косы, под платьем задница и сиськи из подушек – как настоящие, – что узнать его было бы невозможно, если бы Фирс молчал, когда все хором запевали колядку.

Шли мы степью к вам, несли лодочку,

Никого в степи не обидели,

Только в небо мы смотрели – да на звёздочку,

Мы младенчика Христа в небе видели!

Но Фирсу не хотелось молча получать от бабушки Анны подарки –серебряную мелочь, новые рукавицы, шарф, – и он тоже по-своему пел колядку.

– Му мы мы! Му мы мы! – мелодично мычал он, вытягивая шею и подплясывая на месте.

Поднимался из низов латыш – страшный, босой, с огромным посохом и лохматою бородою из пакли, завёрнутый от колен до подмышек прямо поверх собственной шерсти в седую косулью шкуру, по которой в другое время он расхаживал у себя в низах с гантелями или эспандером в одной только этой своей рыжей шерсти, разглядывая в зеркале то широкую грудь, то длинные крепкие ягодицы.

Вваливался в двери с мороза вместе с клубами сверкающего пара дед Манилов – бабка Манилиха вела его на поводке, переодетого в медведя; сама же была в сапогах, в атласных огненных шароварах, в намалеванных черных усах и в серьге кольцом – представлялась цыганом.

– Гэй на на нэ, золотой! – кричала она медведю не своим голосом. – А ну, кувыркайся, милок, потешай народ!

Грозно стучал кулаком в двери отец Василий, поп Васёк, живший на вершине спуска Разина в мрачно красивом доме при Александровской церкви, уже много лет закрытой, – стучал, тарабанил, а потом вдруг входил, вкатывался – маленький, круглый, весь в ужасных обмотках, в тряпках, в дырявых платках, в облезлой шубёнке. «Подайте заради праздничка нищему бродяге!» – весело вопил.

В тулупах наизнанку заскакивали вслед за ним маниловские близняшки, внучки деда Манилова, – на головах пустые тыквы, в которых вырезаны круглые глаза и улыбающиеся рты.

Троня тоже в рождественскую ночь переодевался.

Оставаясь, как есть, в своих полотняных брюках и бумазейной рубашке (мороз, как и зной, ему был нипочем), он надевал на голову самую обыкновенную шляпу, такую же, в какой ходил на работу сын Ангелины Лёсик, начальствовавший над кинотеатром в Атаманском саду, и воображал, что он наряжен до неузнаваемости.

Приходил же Троня позже всех. Подкрадывался к парадным дверям, стараясь не наступать на озарённый горящими окнами снег. Рядом с дверями на косяке был электрический звонок, жалобно пищавший в передней; был и другой звонок, тот, с которым я водил задушевную дружбу, потому что он бодро стрекотал на весь дом, если сильно повернуть вертушку, торчавшую в дверной створке и похожую на увеличенный ключик для заводной игрушки; было и тяжелое бронзовое кольцо с глубокой ложбинкой под ним, народившейся за сто лет от ударов в двери.

Но Троня не прикасался ни к звонку, ни к вертушке, ни к бронзовому кольцу. Он стоял в шляпе под дверями, втянув голову в плечи, – так, что плечи упирались в уши, – и негромко выкрикивал:

– Тук-тук! Кто-то пришёл!

Расслышать его сразу было невозможно, потому что в передней уже стоял весёлый шум, сопровождавший долгожданное действие: бабушка Анна, отпробовав под пение колядок кутьи, которую принесли ряженые, уже бросала им в мешки подарки и деньги, а Ната и Ангелина уже выносили из соседнего зала, наполненного запахом разогретой хвои и тёплых свечных огней, те волшебные вареники, которые с вечера наготовила Анна. Во всех варениках – творог и только в трёх – творога нет.

В одном – мука́: кому он попадется на вилку из большой фарфоровой чашки, на дне которой усердно заталкивают в штормящее море парусник не то разбойники, не то рыбаки, тому – му́ка весь год. Другой – пустой, весь из теста: кто его съест, тому не будет ни добра, ни худа. А в третьем –
серебряный рубль с поцарапанной головой царя Николая, – это вареник счастья...

– Тук-тук! Кто-то пришел! – выкрикивал Троня чуть погромче. – Тук-тук! – старательно повторял он до тех пор, пока, наконец, маниловские близняшки, вдруг услышавшие его из-под своих тыкв, не открывали ему двери, приложив указательные пальцы к вырезанным в тыквах ртам.

Троня входил в переднюю шаркающими мелкими шажками, всё так же держа голову втянутой в плечи по самые уши: изображал незнакомца.

– Ой, да кто это?! – удивленно вскрикивала бабушка Анна, притворяясь, что она Троню не узнаёт.

Притворялась и Ната.

– Да это же наш латыш! – говорила она, складывая перед собою ладони и пятясь назад, на самого латыша, возвышавшегося за ней и давно уже всеми опознанного по кучерявой шерсти и могучему росту.

– Да нет же, Наточка, нет же! Это мой Лёсик! Мой Лёсик! – быстро возражала ей Ангелина, тряся в воздухе костистыми длинными пальцами. – Вот посмотри, посмотри – и шляпа его... фетровая, серенькая! – бойко щебетала она.

Но Троне не хотелось быть ни латышом, ни Лёсиком.

Не меняя выражения своего тела – как бы прячась всем телом под маленькой шляпой, – Троня стоял посреди передней и затаённо ждал других предположений... Ждал, ждал; поворачивал глаза из стороны в сторону, улыбаясь своей особенной улыбкой, не всем лицом, а только морщинами возле глаз и на носу, – в губах же и подбородке сидела, как всегда неразрушимая обида, – и вдруг не выдерживал, снимал шляпу и уверенно выкрикивал:

– Я Фирс!

– Да как же это – Фирс, миленький? – ласково сомневалась Ната. – Фирс не разговаривает.

– Фирс! Фирс! – повторял Троня ещё более уверенно. И тут же, указывая на латыша, радостно сообщал: – А вон то – чёрт!

И сердце у меня вздрагивало. Потому что я отчётливо представлял, что сейчас сделает Троня... Вот сейчас – уже виделось мне – он коротко топнет двумя ногами и, выплясывая, забрасывая на затылок то одну, то другую ладонь, громко, с ядовитым задором пропоёт те слова, которые однажды уже пел на улице:

Чёрт! Чёрт! Рыжий чёрт!

В аду яйцами трясёт!

Девок яйцами зовёт!

«Да каких же это девок, Тронечка?» – уже слышался мне строгий голос Ангелины, чьё неуёмное любопытство всегда таило в себе и простодушие, и коварство. Слышался мне и голос Трони, знающего всё, что происходит в округе, на свете, и отвечающего старательно и беззлобно, даже поощрительно: «А вот таких, бабушка Глина, с которыми ваш внучек играет в карты... Хороших... Балдушек...»

Но, на моё счастье, так, как мне виделось, как мне слышалось, в ту рождественскую ночь не случилось, хотя и должно было случиться наверняка.

Спасая себя, я быстро и деловито, интонацией Ангелины, проговорил, напомнил: «А что ж мы ряженого-то не угощаем варениками?» И тут же протянул Троне на вилке тот вареник, который за минуту до этого я нечаянно выловил из чашки и в котором – я это знал, потому что вилка в варенике уперлась во что-то твердое и беззвучно там царапнула, – был серебряный рубль с головой царя Николая.

Минуту спустя, когда Троня надкусил волшебный вареник и извлёк из него под всеобщее ликование своё счастье на целый год, я уже был спокоен. Железные рубли, чья бы голова на них ни красовалась – царя или Ленина, – Троня страшно любил. Он крепко сжал в кулаке царский рубль, повернулся, метнулся в открытую дверь, в темноту, в сверкающую метель, и там исчез...

Майя

Вечерами она тихонько стучала в окно моей комнаты, а когда я выглядывал на её стук, она быстро снимала с головы круглую, в мелких дырочках шляпку, выпуская на волю свои косы, чтобы по этим косам, коротким, пружинистым, с вплетёнными в них разноцветными ленточками, я тут же узнал её, отличил от сестры...

Это была Майя, та из близняшек – близняшка-балдушка, – которая охотно разрешала целовать себя в губы, когда проигрывала мне в карты. Когда же проигрывал я – ей и её хитрым подругам, Олимпиаде и Саше, –
мне приходилось показывать им латыша: таково было их требование; такова была моя ставка.

Мы играли в полуразрушенной, обросшей кустами шиповника и вьющимся хмелем, каменной беседке, которую бабушка Анна называла Платовской ротондой (Троня говорил: «ритонда»); другую ротонду, точно такую же, но ухоженную, выбеленную, сохранившую при себе только один сиреневый кустик, торчавший из-под железной купольной крыши, она называла Максимовской, потому что её построили при атамане Максимове, – прибавили к Платовской аж через век; обе стояли на средине спуска Разина по разным его сторонам и были хорошо видны из окон бабушкиного дома, но меня это нисколько не беспокоило, потому что Платовская ротонда даже днём не просматривалась насквозь. Мы же играли поздним вечером.

Олимпиада и Саша сидели прямо на круглом мраморном столе, разложив по нему свои короткие расклешённые юбки и маленькие сумочки.

Майя стояла рядом со мной и наверняка заглядывала ко мне в карты, хотя я и прятал их от карманного фонарика, которым нам светила её сестрица, вторая близняшка, Катя, сама никогда не игравшая и даже гордо удалявшаяся из ротонды, когда я получал свой выигрыш... Я играл кое-как, потому что голова у меня шла кругом – от звона цикад, от пения сверчков, от запаха цветущего хмеля, от протяжных, хрустящих щелчков зажигалки, вслед за которыми бойко разгоралась мятная сигарета, озарявшая то и дело подкрашенные губы Олимпиады, от ночи, от звёздного неба, струившегося сквозь громадные дыры в крыше, от самого воздуха в ротонде, расшитого стараниями светлячков фиолетовыми искрящимися узорами, и от того, что Катя иногда вдруг освещала подвижным лучом фонарика беспечно расставленные коленки моих противниц, восседавших по-турецки на столе. Взгляд мой сливался с этим жёлтым дрожащим лучом, и я уже не мог обдумать свой ход, думая только о той завораживающей тени в глубине меж скрещённых ног, которую слабый луч света не успевал разрушить, беспорядочно прыгая по ногам, – одни были темными, лоснящимися, они принадлежали Олимпиаде, высокой, смуглой, носившей толстую чёрную косу до поясницы; другие были светлыми, светящимися, в свежих мелких царапинах выше коленок... Мне хотелось выиграть трижды, чтобы поцеловать и Майю, и Сашу, и Олимпиаду – в её накрашенные мутно блестящие губы. Но этого не случалось.

Мой выигрыш всегда был очень скудный – один поцелуй Майи, который она прерывала небрежным шлепком по моей щеке и возгласом: «Хватит! Играем дальше...»

Проиграв, я заводил балдушек во двор тайным ходом через узкий, шириной всего в один шаг проулок, образовавшийся оттого, что соседний дом примыкал не вплотную глухой стеной к глухой же стене бабушкиного дома. От улицы проулок был загорожен высокой железной калиткой, закрытой изнутри на засов, который я заранее, с вечера, отодвигал, предвидя свои неизбежные проигрыши. Запустив за калитку Майю, Сашу и Олимпиаду, я сначала пробирался один, стараясь не хрустеть каменной крошкой под ногами, до угла дома, до конца проулка, туда, где гранитные шатающиеся ступеньки выводили во двор, прямо под древний полувысохший абрикос, чудом приносивший плоды величиною с куриное яйцо, а потом уже взмахом руки звал за собой балдушек, убедившись, что во дворе никого нет и что окна у латыша горят – здесь, со двора, они выступали из земли, из узких, выложенных ракушечником ям, гораздо выше, чем с фасада, и здесь латыш их никогда не зашторивал. «Один, два, три, четыре... девяносто восемь, девяносто девять...» – считал я до ста двадцати, добросовестно отмеряя те две минуты, во время которых балдушки с веселым и жадным интересом разглядывали латыша, сдвинув головы, зажав ладони коленками и наклонившись на прямых ногах над окном так низко, что их задравшиеся юбки открывали мне сочное, разноцветное и сплоченное зрелище, поднимавшее во мне от живота до ключиц знобящую волну, но вглядеться как следует я, увы, не мог: я осматривал то и дело двор, стоя на страже под абрикосом...

Играть в дурака на свои поцелуи и на моего латыша Майя и её подружки готовы были хоть зимой, хоть летом, потому что голым у себя в низах латыш расхаживал во всякое время года, отважно делая гимнастику. И только весной, ранней весной, когда в воздухе впервые после зимы обнаруживался смешанный запах тёплых камней, влажной пыли и нарождающейся травы, Майя не в силах была играть. Она не могла даже постучать в окно – отчётливо, коротко, так, как стучала всегда, вызывая меня на игру. Лишь однажды, в поздние мартовские сумерки, мне удалось расслышать за окном странный звук – точно по оконному стеклу разгуливал воробей. Я отодвинул штору и увидел руку – бледную лапку, царапавшую накрашенными ногтями стекло. А когда открыл окно, увидел и Майю.

Она была без шапки, без шляпки, в одном только зимнем пальто, из-под которого видны были её голые ключицы. Она стояла под окном, прижавшись щекой к стене, и тихо, как заклинание, повторяла: «...К латышу... к латышу... к латышу...» Потом замолчала, опустила руку и сползла по стене на землю, словно раненая или мертвая.

Печенеги

Лёсиком Лёсика звали потому, что он сам себя называл Лёсиком. Всегда сюсюкал, как сюсюкала когда-то, разговаривая с ним по-младенчески до самой его женитьбы, Ангелина, и всегда рассуждал о себе как о постороннем.

– Да сто вы к Лёсику плистали – покатай, покатай! Лёсик лаботал, Лёсик устал, – хмуро отвечал он близняшкам, когда те просили его, чтобы он покатал их на своем животе, как иногда катал меня.

– Ну покатай же, сладенький, хороший... покатай нас... как племянничка, – выдавливали они из себя, захлебываясь смехом и приседая от смеха на корточки.

– Племяннисик – худенький, легкий, – серьезно объяснял им Лёсик, – а вы узэ дылды, у вас зопы тязолые.

Катать меня верхом на своем животе Лёсику и вправду было легко и сподручно, потому что у него была особенная походка...

Помню, как он возвращался домой с работы, из кинотеатра. Шёл по спуску Разина вниз – не шёл, а словно съезжал по нему на спине, глядя в небо: так сильно приходилось ему заваливаться назад, чтобы перевесить выпуклый живот. Во дворе же, куда он старался попасть первым делом (любил полежать на топчане прежде, чем зайти в дом), Лёсик никогда не появлялся весь сразу. Сначала распахивалась маленькая калитка, врезанная в створку широких ворот, и заходили во двор – как бы сами собой –
одни только его ноги; потом долго – и тоже самостоятельно – въезжал в калитку живот; за ним постепенно показывалась грудь; просовывалась подбородком вперёд голова – всегда при серой шляпе, лежавшей на лбу, на голубых глазах; последними объявлялись руки, висевшие далеко за спиной: в одной руке кожаная папка, в другой бутылка с красным вином.

Близняшки, хотя и изводили Лёсика просьбами (заведомо неисполнимыми: «покатай»; «отдай вино»; «подари папку»), но все же любили его. Часто встречали его на углу Кавказской и спуска Разина, где Лёсик останавливался и покорно ждал, не выпуская из рук бутылку и папку, пока близняшки шарили по его карманам – искали контрамарки на вечерний сеанс в кинотеатр, которые заготовил для них Лёсик. Находили, а потом преувеличенно и весело благодарили его: Майя вдруг отступала назад и отвешивала ему поклон, проводя рукой по траве, а Катя ставила ему на живот железную кружку, полную вишен, с которой Лёсик так и шёл домой. Меня в кинотеатр пускали без контрамарок на любой сеанс.

– Заходи, племяннисик дилектола, – говорили мне билетерши, передразнивая Лёсика, которого они нисколько не боялись, потому что, во-первых, Лёсику всегда было безразлично, как разговаривают с ним или о нём, то есть о том Лёсике, на чье безмятежное существование он и сам – безмятежно же – взирал со стороны; а во-вторых, Лёсик редко добирался до кинотеатра, отправляясь на работу.

Кинотеатр стоял в самом центре Атаманского сада, поднимавшегося тремя террасами (на каждой – своя аллея) от церкви Александра Невского до дворца, который бабушка Анна, повергая в ужас Ангелину, тоже называла Атаманским. «Да ты, Анечка, с ума сошла!» – испуганно шептала ей Ангелина, называвшая дворец совсем по-другому – каркающим словом «горком». Как и дворец, кинотеатр был старинным, но не каменным, а деревянным, с огромными лирами на круглых белых плашках, прилепленных к бирюзовым стенам; с резными плоскими колоннами по углам и обширной, заплетенной дикой лозою верандой, которая выходила прямо в сквер, отгороженный от аллеи высокой выбеленной балюстрадой. Чтобы попасть в кинотеатр, нужно было зайти через низкую арку в сквер, где на выпуклых клумбах валялись –
на боку, на спине, на животе – курганные бабы и где стоял, возвышаясь заостренной шатровой крышей над густыми кронами каштанов, буфетный павильон, похожий на парковую карусель. В этом-то павильоне, окольцованном глубоким каналом, по которому плавали, раздвигая ряску, утки, и сидел целыми днями Лёсик. Иногда сидел до позднего вечера, до звёзд, до луны, до разноцветных огней, зажигавшихся по краю павильонной крыши. Улыбаясь буфетчицам, которые время от времени меняли пузатые графины на его столе; улыбаясь всякому посетителю, перебравшемуся в павильон по сгорбленному мостику, он курил одну за другой сухие хрустящие папироски и пил стакан за стаканом вино – но ничуть не пьянел, а только глаза его становились такими же бирюзовыми, как стены кинотеатра. За стенами крутилось кино – крутилось, мерцало, вспыхивало, разнообразно озаряя зал, казавшийся мне безграничным. Он был и в самом деле огромным, таким, что по нему было просторно летать воробьям и ласточкам. Экран, светившийся во всю ширину кинотеатра над высокой сценой, даже от кресел первого ряда был удален на большое расстояние. Я обычно сидел в первом ряду, хотя мне хотелось сидеть в последнем, там, где устраивалась со своими подружками Майя; там они пили украдкой вино, заранее купленное в павильоне; там Олимпиада сажала меня на колени и я, откинувшись назад, ощущал спиной её плоский тугой живот, твёрдые рёбра, тёплые груди, ощущал её крупные прохладные соски – они, казалось, сверлили мне лопатки и вливали в меня вместе с живой прохладой непобедимый яд, заставлявший все мое тело то дрожать, то цепенеть; там я вдыхал в себя, превозмогая кашель, мятный дым сигареты, которую Олимпиада вдруг подносила к моим губам, пряча в ладонях от взглядов билетёрш алый огонёк... Оттуда, с последнего ряда, мне хотелось смотреть кино. Но я не мог бросить Троню.

Кинотеатр Троню чем-то всегда привлекал, но заходить в него один он боялся – стоял у входных дверей и осторожно заглядывал в зал; с любопытством осматривал бронзовые светильники на стенах, деревянные кресла, покрытые черным лаком, слепо белеющий экран. Стоило мне подойти к дверям, как Троня хватал меня за руку и сам затаскивал меня в зал с таким решительным видом, как будто я, а не он, боялся туда войти. Он усаживался на первый ряд, куда и мне приходилось садиться, потому что моя рука была стиснута в его руке, словно в клещах, и он не отпускал её до тех пор, пока не заканчивалось кино.

Троне воображалось, что кино существует только одно, одно-единственное – то, которое он однажды видел вместе со мною: про печенегов. Про то, как летит на свирепых конях по степи громадное войско, всё в пушистых, пёстрых мехах, и про то, как падает с деревянной башни воин в остроконечном шлеме, успевая нащупать стрелу в груди и тихо вымолвить: «Печенеги...»

Что бы ни происходило на экране – плясала ли там, приставляя длинные пальцы к щекам, голоживотая индианка, бежал ли по крыше вагона хитрец-удалец в галифе, охотно стреляя из маузера во все стороны, целовал ли у моря растрёпанную девицу, жарко катаясь с ней по песку, гибкий и ласковый оборванец, – Троня ждал печенегов. И, не дождавшись, выкрикивал сам на весь зал:

– Печенеги!

– Да, печенеги, Тронечка, печенеги... Уже уехали, – успокаивала его Катя, часто сидевшая рядом со мною, когда я попадал к Троне в плен.

Она не хотела курить сигареты и пить вино с подружками Майи в последнем ряду. Она не переносила ни табачного дыма, ни вина, и поэтому я очень удивился, когда однажды – после того, как мы вышли с ней из кинотеатра в сквер, – она вдруг наклонилась к моему уху и прошептала: «Пойдем к Лёсику пить вино...»

Лёсик встретил нас в павильоне своей обычной, ласково-равнодушной улыбкой, как бы говорившей всему миру: вот он – Лёсик, вот он – тихий вечер, вот оно – вино. Помню, эта улыбка не сходила с его лица ни тогда, когда Катя попросила его налить ей полный стакан вина, который она выпила быстро и лихо – зачем-то тряхнула даже головой над пустым стаканом, – ни тогда, когда она сама, не спрашивая Лёсика, наполнила вином стакан и протянула его мне.

Я тоже постарался выпить вино быстро, не показывая Кате, что я делаю это в первый раз. Горячий сладковатый дух перехватил мне горло, замер в груди, пополз вниз; какое-то время он медленно двигался у меня в животе, обдавая жаром мои внутренности, а потом вдруг помчался вверх, к голове и рассыпался там на тысячи хрустальных иголок. Они кололи мне голову изнутри; плясали снаружи на онемевших щеках. Я видел, как Катя снова наливает себе вино и снова пьёт его быстрыми глотками; видел не своими, а чьими то чужими скользящими глазами, как мы выходим из павильона в сквер; видел по губам Кати, как она что-то говорит Лёсику – но вникнуть в её слова я не мог, потому что мой слух отделился от меня и свободно плавал где то сбоку, вверху, в ночном небе, где дрожали и кружились размазанные звёзды...

Слух мой вернулся ко мне вместе с тошнотой в ту минуту, когда я обнаружил себя сидящим на плечах Лёсика. «Курва! Шалава! Слезай сию минуту!» – отчетливо услышал я голос Заиры, жены Лёсика. Черноволосая, кучерявая, всегда злобная и проворная, она бежала вверх по спуску Разина навстречу нам – навстречу мне, Лёсику и Кате, которая тоже сидела на Лёсике. Она сидела верхом на его животе и, широко раскинув длинные ноги, облокотившись на его грудь, весело распевала:

– Печенеги, печенеги едут с горки на телеге!

Её непослушная голова с двумя конскими хвостиками по бокам раскачивалась из стороны в сторону так сильно, что и Лёсик, никогда от вина не пьяневший, качался, как пьяный, и подпевал ей: «Едут, едут песенеги!..»

Планетарий

Поп Васёк был совсем не таким попом, какие служили в Войсковом соборе. Там они были важными, грозными, с длинными плоскими бородами по живот. У попа Васька борода была маленькая и такая же круглая, как и весь он сам. Он не то что охотно, а даже азартно играл в айданы со мной и Володей – сыном бабушки Наты, моим двоюродным дядей, который был старше меня всего на два года, – и с нашими друзьями Родей и Андреем. Иногда Васёк выигрывал у нас подчистую все айданы – такие маленькие квадратные косточки из коленки овцы. Их нужно было ставить рядком на кон – в прямоугольник, начерченный на земле, – и сбивать с расстояния десяти шагов *байбаком* – точно такой же косточкой, но покрупнее. Если байбак после удара становился на бок – это называлось *арцо*, – то можно было повторить удар с гораздо меньшего расстояния, оттуда, где выпадало арцо. У попа Васька байбак беспрестанно *арчил*, и поэтому он не метил им в кон, а просто *гнался* – подбрасывал байбак вплотную к кону, а потом сбивал им все айданы, закрутив его пальцами, запустив его по земле волчком. Обыгрывал нас и уходил, очень довольный, улыбающийся. Да ещё поучал: «Вот так надо играть в игру ваших пращуров, отроки никчёмные!»

Говорить с попом Васьком можно было о чем угодно: о рыбках, о марках, о телескопе, о Луне, о Боге – существует Он или нет?

– Существует, существует, – отвечал поп Васёк очень буднично (гораз-
до торжественней он объявлял: «Гонюсь!» – подбрасывая к кону непобедимый айдан). – И Бог существует, и Его Сын, и Богоматерь, и апостолы... У меня арцо, отроки!

– А попадья? – спрашивал кто-нибудь.

– Что попадья?

– Попадья существует?

– Я вот те дам попадью, сукин сын! Я вот те холку сейчас так обрею!

Только про попадью и нельзя было говорить с попом Васьком.

Попадью никто никогда не видел, и поэтому её воображали себе какой угодно. Одни говорили, что она старая, уродливая: все лицо в бородавках и жестких волосьях. Другие утверждали, что она страшно юная, тонкая и лицом необыкновенно красивая, но что есть у неё острый горб на спине.

– Да, красивая, но не тонкая и не горбатая, а огромная... Задница у неё вот такая! – возражал на это Володя, возражал и больше не вступал в спор; молча смотрел куда-то перед собою, остановив у пухлой, румяной щеки раскуренную сигаретку, и видно было, как в его светлых, мечтательно умных глазах всё разрастается и разрастается эта выдуманная им задница: одна половинка – как весь поп Васёк.

Вот об этом-то – существует ли попадья или нет – я и думал в тот день, когда мне удалось проникнуть незамеченным за чугунную ограду, которая охватывала скобой Александровскую церковь. Само это пространство за оградой, застывшее, сумрачное, пропитанное запахом плесневеющих кирпичей и затопленное сонной тишиной, манило меня своей непричастностью к окрестному подвижному миру. Меня манило там всё – и гранитные плиты у церковной стены, покрытые длинными надписями на неведомом мне языке; и низкий, кое-как заколоченный гнилыми досками дверной проём в стене, через который можно было забраться в церковный подвал; и валявшиеся под деревьями, вросшие в землю колокола; и дом попа Васька, узкий, длинный, в тяжёлой лепнине над окнами, закрытыми наглухо днём и ночью, зимой и летом деревянными ставнями, которые притягивали к себе мой взгляд так же властно, как закрытые выпуклые глаза и жёлтое лицо деда Корнея, когда того однажды вынесли на улицу в глубоком гробу... Но больше всего меня манила огромная тютина, что росла за оградой у самой церкви, дотягиваясь верхними ветвями до высокого арочного окна, где в железной раме ещё торчали осколки разноцветных стёкол. Ни на одной тютине в округе нельзя было найти таких ягод – белого налива, – как на этой. Они были сочными, нестерпимо сладкими, тучными – некоторые не уступали величиною грецкому ореху. Но добраться до этих вожделенных ягод было почти невозможно. Нет, конечно, пролезть через ограду, аккуратно просунув голову, а потом и все тело, между двух чугунных пик, не составляло труда. И я это делал не раз. А потом шёл к тютине – крался к ней, ощущая, как каменеют от осторожных движений все мои сухожилия. Прежде чем забраться на дерево, нужно было наступить на толстую гранитную плиту под ним: она помогала подняться повыше и ухватиться за нижнюю ветку. Но я не торопился. Я стоял под тютиной, скованный точно такой же выжидательной неподвижностью, какую хранили серые ящерицы, гревшиеся на плите среди высеченных букв. Ящерицы смотрели на меня; я же присматривался к дому попа Васька. Там всё тихо и слепо. Нет ни единой щели между ставнями. Дверь, покрытая пылью и шелушащейся краской неясного цвета, выглядит так, как будто её не открывали уже много лет, как будто дом мертвый, заброшенный. Я наступаю на плиту – и дом оживает. Дверь распахивается, из нее вылетает поп Васёк и, радуясь удавшемуся коварству, кричит: «Куда, твою мать, по могиле протоиерея!»

Так было всегда.

Но так не могло быть в тот день, когда я забрался таки на тютину, тревожно спрашивая взглядом – у слепых окон, у запыленной двери, – существует ли попадья? Попа Васька дома не было. В тот день, я это видел, он вышел из церковного двора, чем-то сильно озабоченный, и вместе с двумя другими попами, чьи розовые гладкие лица над плоскими бородами излучали спокойную строгость, отправился через Атаманский сад куда-то в сторону Дворцовой площади, одетый, как и эти попы, в чёрную рясу...

Целый день я смело разгуливал по церковному двору, уже не желая даже смотреть на дерево, накормившее меня своими плодами до сонного головокружения. К вечеру я обследовал во дворе всё, кроме древнего, похожего на карету, автомобиля, который стоял возле дома, в нескольких шагах от дверей, утопленный по толстые стекла, сплошь закрашенные белой масляной краской, в лопухи и бурьян.

Было уже темно, когда я решил забраться в автомобиль. Я с силой дернул дверцу, и она, опережая мое усилие, быстро и широко открылась. Из автомобиля с грохотом покатились, повалились наружу пустые бочки, вёдра, тазы. Они ещё продолжали шевелиться и греметь, когда под железным козырьком, висевшим на цепях над дверью, зажглась тусклая, грязная лампочка. Я успел спрятаться за угол дома прежде, чем дверь распахнулась и на крыльцо, составленное из двух каменных плит, осторожно вышла попадья.

«Вот она, существует!» – мысленно воскликнул я, разглядывая ее. Худощавая, длиннорукая, затянутая в черное платье от голых ступней до шеи, она какое то время стояла неподвижно и, казалось, всем своим лицом вслушивалась в темноту, повернув его в мою сторону. Такого лица я никогда ещё в жизни не видел!

Глубокий шрам, тянувшийся наискось по правой щеке и задиравший край верхней губы так высоко, что из под нее виднелись два зуба вместе с деснами, делал это лицо не просто уродливым, а уродливым до отвращения. Но с этим нечаянным, нахально торжествующим уродством отважно боролась врожденная красота всех чёрт юного лица попадьи. И эта борьба, не проигранная и не выигранная, но живая, продолжающаяся, обладала такой завораживающей силой, что мне захотелось сию же минуту выйти из своего укрытия и сказать попадье, что красивее её нет никого на свете, и даже поцеловать её в обезображенные губы. Но вместо этого я затаился ещё надёжнее – лег в лопухи, – потому что попадья вдруг шагнула с крыльца в темноту и, продвигаясь ощупью вдоль стены к углу дома, прямо на меня, испуганно спросила:

– Кто здесь?.. Васенька, ты?..

– Я... я... Иди в дом, Анюта! – услышал я в то же мгновение сердитый голос попа Васька.

Его круглую фигуру в черной рясе я сразу же различил в темноте, как только *Анюта*, быстро скрывшись в доме, погасила электрический свет, озарявший крыльцо.

Поп Васёк стоял посреди церковного двора спиной к дому и, запрокинув голову, смотрел на центральный, могучий, чуть приплюснутый купол церкви, под которым блестели в лунном свете стёкла крохотных арочных окон, разделённых тонкими колоннами.

– Планетарием будешь, матушка... Планетарий из тебя постановили сделать в горкоме! – проговорил он, не опуская головы. Потом развернулся и, как-то злобно шатаясь из стороны в сторону, направился к дому – исчез там, звучно захлопнув за собою дверь.

Я уже был в безопасности – за церковной оградой, – когда снова увидел попадью Анюту. Извиваясь и спотыкаясь, повторяя на ходу: «Не надо, Васенька... пожалуйста... пожалуйста....», она выскочила из дома вслед за попом Васьком. Он уже был без рясы – стоял среди могильных плит в одной только длинной белой рубахе.

– Ах вы ж, стервы блестящие!.. Планетарий!.. Я вам покажу планетарий, мать вашу коромыслом!! – грозно кричал он куда то в ночное небо, в звёзды...

Восьмой пароход

Дом у Трони был. Но что это был за дом! Это была такая круглая башенка при воротах, от которых уцелела только одна створка из толстых железных прутьев, сплетённых в узор.

Когда-то давно, когда в двухэтажном доме с плоскими колоннами между окон, что стоял за воротами в глубине двора, жил один дед Корней Манилов, у которого, говорила бабушка Анна, «было семь пароходов в Азове и миллион рублей серебром», в этой тесной башенке, сменяя друг друга, сидели маниловские сторожа, охранявшие дом. Как и когда в башенке поселился Троня, в округе никто не помнил. Не помнил этого и сам Троня. Иногда он и вовсе забывал, что сторожевая башенка – его дом.

– Иди, Тлоня, домой! – бывало, командовал ему мимоходом Лёсик, заметив, что Троня бодрствует поздним вечером, забравшись с ногами на холодный валун у колонки. И Троня шёл. Но не в башню, а мимо неё – по улице. Или вдруг говорил Лёсику, не двигаясь с места:

– Не хочу домой. Хочу в башенке пожить.

– Да ты сто, Тлоня, дулак! Ты там и зывёс! – отвечал ему Лёсик взволнованно, стараясь Троню обрадовать.

После такого сообщения Троня, случалось, несколько дней никого не подпускал к своей башне – кричал с ехидной гордостью, с лютым задором всякому, кто пытался приблизиться к ней, что это его дом! что ему Лёсик сказал! Но проходило ещё несколько дней, и Троне наскучивала эта забота, мешавшая другой его заботе – быстро шагать туда-сюда по всему городу, не расставаясь с явью ни днём ни ночью.

Он снова куда-то шёл – то по одной, то по другой улице, пересекал площади, спешил к собору, спускался к Аксаю, выходил в степь, возвращался в город. Башенку в разгар такого бодрствования он даже не замечал, а если и заходил в неё, то так, как заходят в чужое жилище, – со сдержанным любопытством и вежливой осторожностью.

В башенке у Трони, в круглой каменной комнате, где едва помещались табуретка и стол (на нем Троня спал), я был много раз. Мне нравилось сидеть там среди ясного жаркого дня в полумраке и смотреть на улицу через узкие – шириной в две ладони – окна без стекол. Всё отсюда выглядело иначе. Все казалось далёким, неузнаваемым и вместе с тем необыкновенно отчётливым, словно я смотрел с обратной стороны в телескоп, пользуясь его подспудной, удаляющей силой. Даже бабушкин дом представлялся мне незнакомым, оттого что он виделся весь целиком в ярком и плотном свете, сдавленном глубокими оконными проёмами. Чем дольше я смотрел сквозь них на улицу, тем неподвижней становился мой взгляд, равномерно рассеиваясь на всех предметах – и дальних, и ближних. Предметы сначала теряли свою отчетливость, потом раздельность; потом превращались в сплошную пёструю пелену. А вслед за этим во мне поселялось странное состояние, которому невозможно было сопротивляться в силу его чужеродности. Оно как будто бы не принадлежало мне; оно наплывало на меня со стороны, извне, вытесняя моё «я». Не я, а какое-то совершенно бездумное и бесформенное
 существо, вдруг завладевшее моим зрением, смотрело из башенки и наслаждалось этим свойственным для него состоянием, в котором соединялись одновременно и упоительное оцепенение, и радостная заворожённость, и обморочное безразличие ко всему, что происходит перед глазами, на улице, в округе, за толстыми стенами башенки, в башенке – где бы то ни было. Мне не то чтобы не хотелось крикнуть незнакомому велосипедисту, который быстро и беззвучно катился по улице, по травяной кромке вдоль мостовой, что он – вот сейчас – упадет в глубокую яму (обросшую по краям высокой лебедой и потому для него незаметную); я просто не в силах был этого сделать: я мог только наблюдать – без сочувствия, без насмешки, и даже без любопытства, – как он падает; как исчезают с поверхности земли переднее колесо, хромированный руль, сгорбленная спина, а потом и заднее колесо, сверкнувшее напоследок спицами. Мне было вовсе не обидно, что Родя лежит в *нашем* палисаднике и, запрокинув голову на ладони (делая вид, что спит), подглядывает за *нашей* Заирой, которая теперь собирает сливы в кастрюлю, забравшись в цветастой юбке на дерево и расставив ноги на ветках прямо над Родиной головой. Я не испытывал горячечного азарта, видя, что на улице появляется, выворачивая из за угла спуска Разина, долгожданный старьевщик в обвислой шляпе, запряжённый вместо коня в разрисованную арбу: ему можно было принести теперь любую дрянь, хотя бы и поломанный бабушкин веер, который она прятала в горке среди посуды, и взамен получить губную гармошку, глиняную свистульку или даже перочинный нож. Но я и не думал бежать за веером. В эти минуты я вообще не мог о чём-либо думать, в чём-либо участвовать действием или мыслью, чего-либо хотеть или не хотеть. Моя воля, словно испорченный оптический прибор, из которого нельзя извлечь искомую резкость, не настраивалась ни на какое событие в окрестном мире. Заира, старьевщик, Родя, проворный велосипедист, блестящий тёмно-зелёный жук на каменном подоконнике в башенке, печные трубы на отдалённых крышах, макушки пирамидальных тополей на нижних улицах – все это я видел одновременно и в то же время не видел ничего. Мир не воздействовал на мои чувства; я даже не осознавал в эти минуты, что мир существует и что я существую в нём. Это была какая-то особая форма небытия, возникавшая по недоразумению – от чрезмерной рассеянности взгляда – в недрах самой жизни. Почему-то именно в Трониной башенке мой взгляд заражался этой мертвящей и блаженной рассеянностью. Иногда, конечно, случалось, что и вдали от башенки, например на террасе за летним обедом, когда Ангелина разливала дымящийся суп по тарелкам (обедами на террасе всегда распоряжалась она, а не бабушка Анна), меня вдруг охватывало точно такое же состояние. Но длиться долго оно не могло. «Засмотрелся!» – тут же говорила Ангелина, словно уличая меня в чём-то опасном или вредном. «Ну-ка, очнись! – приказывала она. – Немедленно! Слышишь?» Я машинально кивал в ответ, хотя слышал одни только звуки, а не сами слова, составленные из них, и, кивая, продолжал смотреть куда-то в никуда – в глубину туманного разноцветного кома. И тогда Ангелина, утопив в бокастой фарфоровой супнице тяжёлый половник, принималась махать освободившейся ладонью перед моими глазами с такой же заботливой энергичностью, с какой растирают обмороженные щеки. И делала она это до тех пор пока глаза мои – вместе с чувствами и мыслями – не начинали двигаться, схватывая предметы в их привычном, раздельном и ясном, виде. После чего Ангелина строго объясняла мне, что так засматриваться нельзя; что от такого *засматривания* можно нечаянно ослепнуть; можно даже незаметно умереть.

– Или сделаться дурачком, – подхватывала Ната.

– Как Троня? – спрашивал я, зная, что Ната и Ангелина не посмеют в присутствии бабушки Анны согласиться со мной, а лишь промолчат в ответ и на том прекратят разговор, уже обещающий превратиться в дружное назидание о том, как правильно нужно смотреть, чтобы уберечь и зрение, и жизнь, и ум; и о том, как вообще следует вести себя воспитанному мальчику.

В башенке у Трони я мог засматриваться сколько угодно. И этому никто не мог помешать, кроме самого Трони. Однажды он очутился у меня за спиной, когда я смотрел в то окно, из которого виден был дед Корней, спавший стоя с пустым ведром на мостовой – всегда на одном месте, на перекрёстке Кавказской и спуска Разина, недалеко от колонки, – видны были сама колонка и густая ива рядом с ней, похожая на пышный фонтан. Троня осторожно ткнул меня твердым острым пальцем в плечо и негромко проговорил:

– Что, нравится смотреть из башенки?.. Она хорошая.

Он сказал это как-то так (мечтательно? понимающе? – не знаю), что я на мгновение усомнился в том, что он дурачок. Но в то же мгновение сомнения мои рассеялись. Глянув в окно, а затем просунув в него голову, Троня вдруг заорал тем своим резким противным голосом, который был знаком всем в округе и в котором слышались одновременно ноты воинственной обиды и отчаянного, кривляющегося веселья:

– Корней! Корней!! Где твой пароход?! Просыпайся!.. Вон твой пароход плывет!!

«Пароход... пароход... А я то думаю, что за пароход?..» – приговаривала два дня спустя не то радостно, не то сокрушенно бабка Манилиха, стоя вместе со всеми в толпе возле своего дома и глядя, как выплывает, покачиваясь на руках, из распахнутых настежь дверей, из стойкого сумрака на яркий полуденный свет, огромный, с высокими бортами гроб. Дед Корней, сделавшийся каким-то очень плоским, одетый в пиджак, какого он никогда не носил, лежал в нем с желтым лицом, без фуражки, и, казалось, что-то усердно рассматривал в мыслях под голым лбом.

Там

Ни с кем мне не хотелось целоваться – ни с Майей, ни с Сашей, ни с Олимпиадой – после того, как я увидел попадью Анюту. Поздними вечерами, засыпая в одиночестве на топчане под вишней или в компании с Володей на открытой, выходившей во двор деревянной террасе, я думал только о попадье Анюте. Мне даже не хотелось говорить с Володей о том, о чём мы обычно говорили в эти сладкие предсонные минуты, кутаясь в верблюжьи одеяла (я у стены на грузной оттоманке, он на легкой кушетке у края террасы, под самыми перилами), – о покойниках, об айданах, о том, что завтра нам надо наконец-таки разыскать на Аксайской улице *Енота* и как нибудь выменять у него или выиграть в карты всех моих *негров* –
четырнадцать серебристых марок родом из Бурунди, скитающихся по округе с тех пор, как я променял их на негодную (чвирк-пырк) зажигалку; об отдаленности Венеры, сияющей в обманчивой близости над кроной старого абрикоса; о пылком злодействе деда Корнея Манилова, который будто бы взял и отрубил длинной шашкой головы двум молодым актёрам и своей первой бабке, то есть, конечно, не бабке, а тоже юной актерке, за то, что она очутилась с актерами голой в садовой беседке («Тс-с, видишь?!» – «Что?» – «Кто то идёт... *Они* идут! Все трое – без голов!» – «Ты врешь... перестань, Володя...» – «Смотри! Смотри! И дед Корней идёт! С шашкой идёт... видишь, блестит?..» – «Ничего не блестит: деда Корнея похоронили». – «Ну да, похоронили. А он идёт!»); о том, что Лёсик, хоть он и добрый, а тоже, наверное, отрубил бы чем-нибудь голову своей Заире, если б узнал нашу тайну; и, наконец, об этой заманчивой тайне – о голой Заире.

Голой её видел я. Но мне почему-то всегда было интереснее слушать Володю, слушать, как *он* рассказывает мне о моем приключении – о том, как беззвучным, томительно-жарким полднем я забрался в сарай, надеясь там отыскать (на будущее) какие-нибудь вещицы, подходящие для старьевщика: искать их в доме я уже не решался с тех пор, как отдал старьёвщику за две раскрашенные свистульки бабушкин веер, который, как выяснилось потом, когда бабушка целый день ругала старьёвщика «шаромыжником», а меня «безмозглым анчуткой», был ей «дороже всех свистулек на свете».

Зайдя в сарай, я плотно закрыл за собою высокую, обитую железом дверь. Из крохотных окошек под крышей сюда проникали мутные лучи, в которых медленно двигалась пыль. Они слабо освещали только переднюю часть сарая, где хранились аккуратно сложенные дрова, колотый уголь, бочонки с керосином, инструменты, всевозможные стулья, столы и кресла, сосланные сюда из дома по дряхлости или по увечности; задняя же часть сарая, отделённая высокими загородками, за которыми когда-то, как говорила бабушка Анна, стояли лошади, была совершенно тёмной. Но именно там, за этими дощатыми загородками с уцелевшими кое-где дверцами, и можно было найти такие вещи (сбрую, седло, железный поднос, подсвечник), которые зажигали в весёлых глазах старьёвщика беспокойные огоньки.

Сидя за загородкой, я неспешно перебирал разнообразный хлам, как вдруг дверь в сарай приоткрылась, потом захлопнулась, перекусив широкий луч света. И в то же мгновение я услышал голос Заиры.

– Боже мой!.. Ну и пусть! Ну и пусть! – испуганно говорила она кому-то.

Бесшумно наступив на ящик, лежавший возле загородки, я осторожно выглянул в широкую щель между верхними досками. Заира была одна. Она стояла возле изорванного кожаного кресла, и вид у нее был такой, будто она только что очнулась от кошмарного сна. Какое-то время она ерошила свои короткие кучерявые волосы, быстро двигая растопыренными пальцами вверх от висков. Такими же быстрыми движениями она вдруг стала расстёгивать пуговицы своей блузки, потом широкий лакированный пояс на юбке. Я видел, как юбка упала на земляной утрамбованный пол рядом с блузкой, как Заира, перешагнув через юбку, наклонилась, подняла к груди сначала одно, потом другое колено, и тут же выпрямилась. Я не сразу понял, что она была теперь голой: её кожа на ягодицах светилась такой же яркой белизной, как и трусы, которые она, скомкав, швырнула в кресло.

– Входи! – сказала она, глянув в сторону железной двери. Дверь тут же открылась, и в сарай вошел Рюмкин. Это был худощавый, длинноволосый, с подвижным острым кадыком студент, который три раза в неделю занимался математикой с Ангелиной и который очень смешил меня и Володю тем, что называл Ангелину, будто мужчину, профессором («профессор сказала»; «профессор пообещала»; «профессор разрешила мне у вас пообедать»).

Увидев Рюмкина, Заира нисколько не испугалась. Напротив, с весёлой и злой отвагой она повернулась к нему лицом и, запрокинув вверх подбородок так резко, будто кто-то её дернул сзади за волосы, проговорила:

– Ну вот, Рюмочка, смотри! Где у меня шерсть?

Рюмкин осторожным движением, каким он это делал всегда, когда собирался во время урока что-нибудь возразить Ангелине, снял свои круглые толстые очки, медленно протащив их вниз по носу, и виновато отвернулся в сторону.

– Я думаю... то есть я совсем не то хотел сказать, когда говорил... – начал он было что-то объяснять Заире.

Но она его не слушала.

– Смотри, смотри! – повторяла она, поворачиваясь на месте и качая руками над головой, словно в танце.

– Я уже посмотрел... мне очень нравится... но только я пошутил, – бормотал Рюмкин, не глядя на Заиру.

– Ах, пошутил?! А я не шучу! – Она сердито, но не сильно шлепнула Рюмкина ладонью по щеке.

И в эту минуту перевёрнутый ящик из тонких дощечек, на котором я стоял за загородкой, с громким треском проломился под моей ногой. Из сарая Рюмкин успел выскочить прежде, чем Заира, подхватив с пола юбку, воскликнула:

– Кто здесь?

Я молча вышел из своего укрытия. Заира стояла в пыльных янтарных лучах, прикрывая юбкой грудь и согнувшись всем телом так, словно она собиралась прыгнуть.

Не зная, что делать, я не двигался с места.

– Это ты?.. Ты подглядывал! Подглядывал!! Сволочь, шалава! – Взгляд Заиры горел такой ненавистью и злобой, каких я никогда ещё не видел в её глазах – даже в те минуты, когда она ругалась с Лёсиком.

Ноги у меня сделались ватными от страха; мне казалось, что Заира сейчас бросится на меня и задушит своими крепкими темными пальцами в серебряных кольцах. Но вдруг лицо её переменилось. Какое-то странное выражение – не то умиления, не то озорства – проступило на нём. Она быстро подошла ко мне и села передо мной на корточки, взяв мою голову в ладони.

– Прости меня, ну прости, прости, – произнесла она ласковой скороговоркой. – Знаешь, он меня обидел, этот Рюмкин, обидел! Он сказал, что я противная волосатая ведьма, что у меня везде шерсть, как у нашего латыша, только чёрная, а у меня нет никакой шерсти, ты видел... видишь... Ты никому не скажешь? – внезапно спросила она, отодвинув назад мою голову, чтоб заглянуть мне в глаза. Я покорно кивнул. Она снова притянула мою голову к своему лицу и ещё долго что-то говорила мне, то улыбаясь, то плача, то требуя от меня страшных клятв, которые я произносил монотонно и бесчувственно, потому что чувствовал только одно – как больно вдавливаются её прохладные кольца в мои горящие уши...

Потом, когда эту историю мне пересказывал Володя (так запальчиво и подробно, как будто он, а не я был её участником), я охотно верил ему, что в ту минуту, когда Заира сидела передо мной на корточках, я чувствовал и видел очень многое – видел вблизи её плечи, колени, живот, качающиеся груди, внимательно рассматривал её сплющенные соски в центре больших темно-коричневых кругов, чувствовал какое-то мягкое, ароматное тепло, исходившее от её шеи... О голой Заире мы обычно говорили с Володей до поздней ночи, радостно свидетельствуя друг перед другом, что шерсти у Заиры нет нигде – только под мышками и *там*. И это заповедное *там*, эта вертикальная выпуклая полоска черных волос (короткая полоска, а вовсе не размашистый треугольник, как рисовало грубое воображение Володи), то и дело проникало в мои сны, где Заира, голая и огромная, выше Платовской
ротонды, стояла, раскинув ноги, на средине спуска Разина, покрытого льдом, и в то время, как я пролетал по льду на санях под её ногами, словно под аркой, грозно кричала мне: «Смотри! Смотри!»

Но все это было раньше, до того, как я увидел попадью Анюту, до того, как я влюбился в её узкое бледное лицо, изуродованное безжалостным шрамом; влюбился в сам этот шрам, который, как мне казалось, возник на её непобедимо-красивом лице не от какого-то будничного несчастья, а силою сказочной злой ворожбы; влюбился в её чёрное полотняное платье, которое скрывало всю её тонкую высокую фигуру от щиколоток до шеи и которое даже смутно, даже краешком мысли не позволяло воображать никакого *там*. Мое воображение, за которым бдительно следила душа, возвышенно и нежно тоскующая о попадье Анюте, только тогда и получало свободу и обретало способность рисовать отчетливые картины, когда оно уносилось прочь от всего, что могло скрываться под черным платьем.

Ночами, на террасе, дождавшись той минуты, когда Володя засыпал, думая, что и я уснул под его оживленный говор, я откидывал одеяло и, глядя сквозь крону старого абрикоса на звёзды, представлял, что вот попадью Анюту схватили пираты, вроде тех, что делят сокровища под скалой у берега моря на красочном гобелене, который висит над кроватью в спальне бабушки Анны. Попадья Анюта беспомощно стонет. Пираты заламывают ей руки, рвут на ней платье, надменно хохочут. А один из них, тот, что по пояс голый, в фиолетовых шароварах и красном платке, завязанном на затылке, уже выдернул из-за пояса нож и занес его над лицом попадьи Анюты, чтоб оставить на нём ещё один шрам, на другой щеке. Но тут появляюсь я, одетый во что-то черное и очень красивое. У меня в руках пистолеты. «Негодяи!» – кричу я пиратам и тут же стреляю – они падают мёртвыми. Попадья Анюта растерянно плачет. Она ещё не верит в своё счастливое освобождение. Её платье разорвано на груди. Она закрывает локтями голые груди. Но я вовсе и не думаю разглядывать её, как разглядывал в сарае Заиру. Я гордо и благородно смотрю куда то в сторону и вверх. «Ты хочешь поцеловать меня?» – говорит Анюта, глядя на меня с покорной нежностью. «Нет, ничего этого не надо!» – великодушно отвечаю я; на моём лице выражение мужественной грусти... Или все ж таки я целую её – но не там, под скалой, внутри гобелена, а в какой-то жарко натопленной хижине посреди заснеженных гор, где я спас её от других злодеев... Или нет: весь израненный и измученный, после долгого боя с бесчестным соперником, который тоже любил попадью Анюту, но был мною убит, я говорю ей: «Прости! Я победил его!» – и устало уезжаю верхом на коне. А она кричит мне вдогонку: «Вернись, вернись! У меня нет никого, кроме тебя!» Попа Васька я, ра-
зумеется, не брал в расчёт; ему не было места в этих картинах, и он, словно зная об этом, сразу же исчезал из моей головы вместе со своим нелюдимым домом, Александровской церковью, круглой бородкой, перепачканной рясой и подвижными глазами, полными весёлого сверкающего коварства, как только моя фантазия, поставленная на службу печальной и одинокой любви, принималась за свою утешительную работу.

Я засыпал лишь под утро, не замечая, как мои послушные грезы, превращаются в своевольные сны, где всё происходит совсем не так, как мне хочется, где я убегаю и никак не могу убежать (потому что воздух вокруг меня слишком плотный) от попа Васька, который гонится за мной по улице, возглавляя недобрую толпу, ощетинившуюся ножами и палками. «В степь его! Выгоняйте в степь! Там он не полетит!» – кричит поп Васёк, и я радостно вспоминаю, что могу полететь. Я машу руками. Плотный воздух уже не мешает мне, а, наоборот, помогает. Я отталкиваюсь от него раскинутыми руками и медленно поднимаюсь вверх; потом переворачиваюсь горизонтально и лечу над толпой вниз лицом. Толпа страшно злится на это чудо, тычет в воздух ножами и палками, но достать до меня уже не может. Я очень высоко. Мне хочется подняться ещё выше. Я сильнее машу руками и с ужасом ощущаю, что начинаю падать – воздух не держит меня. Я падаю все быстрей и быстрей и с нарастающим страхом жду того мига, когда ударюсь о землю. Но вдруг какая-то сила все меняет вокруг меня – я оказываюсь на чердаке нашего дома и вижу: возле печной трубы стоит попадья Анюта. Она нетерпеливо стучит кулаками в трубу и просит там кого-то: «Пустите меня! Пустите! Спрячьте!» Потом оглядывается на меня и говорит: «Ну что же ты стоишь, помогай мне!» Я подхожу к трубе и тоже стучу. Но мне не хочется, чтоб попадью Анюту пустили туда, и поэтому я стучу тихонько – только делаю вид, что стучу. Она замечает это. «Не так! Не так! Стучи громче!!» – выкрикивает она, и голос у неё такой же злой, как у Заиры. И тут я только вижу, что и блузка на ней такая же, как у Заиры, и кроме блузки больше нет ничего. Я принимаюсь бить кулаками в трубу изо всех сил, чтоб не смотреть на попадью Анюту, но глаза мои сами поворачиваются к её голым, белым, как мел, ногам. И в тот миг, когда я уже должен увидеть, что у неё *там*, труба с грохотом рушится.

«Бум-бум-бум! Там-там-там!» – слышу я оглушительные звуки. Но они уже принадлежат утренней, солнечной яви, где Володя катается по террасе на самокате, сильно ударяя в пол ногой, чтоб разбудить меня.

Черва

Все в округе мечтали знать, зачем латыш живет у нас в низах, – что он там делает, кроме гимнастики? Но узнать это было невозможно, потому что латыш никого не пускал в свои комнаты – ни молочницу, ни почтальона, ни настырных подружек Майи, которые ночами царапались к нему в окна. И сам выходил редко. В жару вообще не показывался на улице. Зимой гулял охотней. Одевался легко даже в лютый мороз. Шел себе по скрипучему снегу в лакированных тонких туфлях, черных наглаженных брюках с серебряными блестками и коротком пальто поверх белой рубашки, расстегнутой на шерстяной груди, от которой клубами валил лоснящийся пар, пропитанный запахом «Шипра».

– Эй, Екабс! Яйца заморозишь! – кричала ему грубым, охрипшим голосом Олимпиада, закрывая пуховой варежкой простуженный нос.

– Иди ко мне, я тебе их отогрею в ладошках! – пищала, высовывая бледный подбородок из-под шарфа, Майя; она топталась возле нарядных подруг на углу Кавказской и спуска Разина, одетая в громадную шубу и валенки.

– Ты что, дура?! В твоих ладошках они не поместятся! – испуганно и сердито возражала ей Саша, смеясь глазами. – Они же у него вот такие! – она обхватывала растопыренными пальцами, туго затянутыми в красные кожаные перчатки, невидимый шар величиною с арбуз. – Правда, Екабс?

Екабс на это не обижался. На всякий возглас, обращённый к нему, насмешливый или дружелюбный, он радостно поднимал рыжие брови и, вытягивая голову вперёд и вниз, словно нырял в дверной проём под притолоку, приветливо махал огромной ладонью возле виска. Обижались на него балдушки. Говорили, что он хоть и весёлый, а никого и ничего не любит, кроме своей длинной задницы, которую он по ночам целует, хитро изогнувшись. Но это были только их ядовитые выдумки.

Екабс на самом деле любил очень многое.

Любил ходить на Московскую – центральную улицу города – в ресторан «Южный», где он, по рассказам Заиры, игравшей там на пианино, заказывал много водки, вина, коньяка и разных дорогих блюд, которые все оставлял нетронутыми; тратил весь вечер деньги налево и направо, посылая шампанское всякому, кто его поприветствовал из-за столика; а ближе к полуночи с боем покупал одеколонный автомат – фигурный, похожий на тумбочку ящик с зеркальным фасадом и щелью для монеты, который висел на стене перед гардеробом и шумно выбрызгивал, проглатывая двадцать копеек, порцию одеколона из подвижного железного соска на макушке.

Швейцар и гардеробщик торопливо отключали злополучный автомат, снимали его со стены и, сгибаясь от тяжести, отдавали Екабсу, как только он, исполняя свою угрозу, принимался рвать на мелкие кусочки разноцветные деньги и пускать их по гардеробу, как конфетти. Екабс брал автомат под мышку и очень довольный уходил с ним домой.

Наутро Заира, заспанная, с помятыми волосами, отвозила автомат на тележке назад в ресторан и забирала там двести рублей, которые Екабс заплатил за него. Заира не сразу их отдавала латышу; она берегла их до того времени (наступавшего очень скоро), когда денег у латыша не было даже на сигареты и он, всё так же чисто одетый и выбритый, пахнущий одеколоном, подбирал на улице окурки, нисколько не стесняясь прохожих.

Получив от Заиры двести рублей, Екабс тут же исчезал куда то и пропадал несколько дней. Потом возвращался – уставший, зевающий, с провалившимися щеками, покрытыми колечками рыжих волос, и очень счастливый: все карманы его были полны деньгами. На следующий день, выспавшись, он с радостью, с неуемным азартом раздавал всем долги – иногда вдвойне и втройне; всякому верил с первого слова.

– А вот в позапрошлую среду, голубчик, ты брал у меня ещё троячок, –
ударяя на слове «ещё», ласково выдумывала бабка Манилиха, уже получив один троячок – тоже в счёт придуманного долга. И латыш немедленно вручал ей десятку.

Не обделял он и Троню – просил меня или Володю незаметно подсунуть ему в карман железный рубль, хотя Троня не только ничего не давал ему, когда латыш в дни безденежья, резво шагая в красивом переливающемся костюме куда-то в сторону Горбатой улицы, спрашивал у него на ходу три копейки на трамвай, но и ещё испуганно злился – трясся, топал ногами и, ковыряя воздух скрюченным пальцем, кричал:

– Вона! Вона! Хрен свой продай балдушкам, нищенка проклятый!

Любил латыш играть на гитаре, которая казалась маленькой и хрупкой, когда он держал её в своих огромных, покрытых шерстью руках и осторожно, словно боясь раскрошить её пальцами, перебирал струны, сидя на широком подоконнике боком к раскрытому окну, выходившему во двор, в прохладную яму, выложенную ракушечником.

В низы к себе латыш пускал только Лёсика, которого он (единственный в округе) называл не Лёсиком, а Алёшей. Лёсик считался хозяином этих комнат, которые бабушка Анна, исполняя какое-то давнее обещание, подарила ему, как только он женился на Заире. Но Лёсик не хотел жить в низах. Он и женившись жил по привычке наверху, под боком у Ангелины, в её сумрачных комнатах, выходивших окнами во двор, а деньги, которые платил ему латыш – «квалтилантские», как он их называл, – беззаботно тратил в парковом павильоне на вино, папиросы и шоколад, уверяя Заиру, что он «всё до копееськи собилает и плясет в надёзном месте».

– Это где ж такое место, курва?! В твоих залитых глазах?! Или у шлюх между ног?! – ехидно вышёптывала ему Заира.

– Каких глазах? Каких слюх? – вспрыскивал руками Лёсик – в точности, как Ангелина, когда у неё пригорали пирожки. И тут же бежал в низы, к латышу. Прятался там – лежал на оттоманке, пристроив рядом на полу бутылку вина и стакан и радуясь, что он теперь не видит и не слышит Заиру.

– Что, Алёша, опять тебя покусала за сердце твоя змея? – спросил у него как-то раз латыш, сидя на подоконнике и поглядывая с весёлым сочувствием на Лёсика, вошедшего в комнату с бутылкой вина и огромной подушкой. Латыш не заметил, что Заира в эту минуту стояла, подбоченясь, прямо над ним – на краю оконной ямы.

Подбородок Заиры затрясся, сжатые губы побелели. По её сузившимся глазам было видно, что она хотела сказать латышу что-то очень язвительное. Но вместо этого развернулась – так резко, что под её ногами захрустели камешки, – и быстро пошла в сад. Сидела там в беседке с осохшими, красными от выплаканных слёз глазами и негромко, сквозь зубы ругалась: «Змея, сволочь! Сам он змея! Кобель рыжий! Не люблю его! Не люблю!»

С той поры Заира затаила обиду на латыша. Не разговаривала с ним, не здоровалась. Не отвозила в ресторан одеколонный автомат. За автоматом теперь приходил швейцар со своей тележкой. Угрюмый, коренастый, жидкой сквозящей бородой похожий на деда Корнея, он долго стоял у ворот и переминался с ноги на ногу, не решаясь открыть калитку.

– Этово, сынок, таво... Сюда... Ага!.. – обрадованно мямлил он, завидев меня сквозь щели в воротах.

Я впускал его во двор и с важностью недоверчивого хозяина, сложив на груди руки, молча провожал к летней кухне, возле которой на перевернутой бочке латыш всегда оставлял автомат. На старика швейцара эта моя притворная важность действовала пугающе.

– Щас щас щас, сынок! Щас! – подбадривал он себя виноватой скороговоркой, укладывая автомат на тележку и быстрыми суетливыми движениями заворачивая его в белую скатерть.

– А деньги кто Екабсу отдаст? – строго спрашивал я у него уже за воротами, подступив к нему вплотную и даже сощурив глаза, как это делала в злобе Заира.

Но за воротами старик не боялся меня.

– Не твоёго ума дело!.. Прочь, прочь! – огрызался он.

От старика сильно пахло свежевыпитой водкой в то утро, когда он не стал огрызаться на моё требование вернуть латышу деньги. Осклабив потное, в пунцовых пятнах лицо так, что из-под растянувшихся губ блеснули мокрые розовые десны, он мирно проговорил:

– А на што они ему, эти деньги? Наиграет себе еш шо!

– Как наиграет? – спокойно спросил я, затаив удивление.

– Как-как... Охвицеров в карты обкромсает, и всё тут!

– А если офицеры у него выиграют, тогда что? – продолжал я рассудительным тоном, делая вид, что говорю об известном мне деле, и надеясь этой хитростью выманить у старика все тайны.

– Да кто ж у ёго выиграет! Он самый наилучший картёжник в городе! А можа, и во всёй области! – с гордостью отвечал раздухарившийся старик. – Вчёра, вон, двух майоров из Таганрога так обмухлевал, что те и до се воют на всю гостиницу: ажнок две тыщ щи за ночь у них оттяпал – пятьсот кровных и полторы казённых! Во!

Так я узнал от швейцара, что латыш – карточный игрок; что он постоянно ходит в гостиницу «Южная», которая над рестораном «Южный», на двух этажах; что там дни и ночи напролет он играет в карты на деньги то с заезжими офицерами, то с актёрами из театра Комиссаржевской;
что в гостинице его называют Екабсом Червой за его красно-рыжую масть и картежную славу; что играет он очень жестоко – не милует ни новичков, ни бывалых; и что нет для него на свете другой радости, кроме карт.

Два майора, две тысячи, карты, гостиница – всё это не выходило у меня из головы в тот апрельский день. Весь день украдкой и с жадной пристальностью я всматривался в латыша, стараясь найти в нём что-то новое, необыкновенное – того безжалостного Екабса Черву, который никого не милует и ничему не радуется. И не находил.

Латыш, как обычно, сидел на подоконнике, перебирал струны, курил, улыбался. И вдруг начинал петь. Сам рыжий, он с каким-то особенным волнением, закрывая глаза и мотая головой над гитарой, пел песню про рыжую шалаву.

Для кого ты, стерва, бровь свою подбрила,

Для кого надела синий свой берет,

И куда ты, сука, лыжи навострила?

От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Рыжая шалава, от меня не скроешь!

Ну а если дальше будешь свой берет носить,

Я тебя не трону, но живьём зарою,

Прикажу залить цементом, чтобы не отрыть, –

пел он с отчаянным наслаждением. Но поверить, что сердце его наслаждается тоскующей свирепостью этих слов, обещающих рыжей шалаве лютую казнь, было невозможно, потому что в светло-голубых глазах латыша, когда он их открывал, чтоб посмотреть из ямы на весеннее небо, сквозившее в ветках старого абрикоса, обсыпанных крупными и редкими цветами, светилось чувство счастья и беззлобного упоения жизнью.

Прорицание

Бабка Маленькая Махора была на самом деле не маленькой, а такой огромной, что заслоняла туловищем почти весь свой дом, возле которого она сидела на лавке целыми днями. Деревянный, выкрашенный ярко-синей краской, дом её стоял на Аксайской улице в конце спуска Разина. Спуск упирался в эту улицу, прямо в дом бабки Махоры, в бабку Махору, которая даже с вершины спуска, от Александровской церкви, была хорошо видна. Зимой и летом она сидела перед домом в высоких бурках и громадном тулупе – то крепко спала, то дымила трубкой, всегда торчавшей у нее во рту.

Иногда к бабке Махоре приезжал на коне откуда-то из-за Аксая цыган. Конь казался маленькой собачонкой рядом с ней; он стоял возле бабки Махоры и, наклонив вытянутую голову, осторожно щипал траву под её ногами. А цыган тем временем вытаскивал из-за мягких голенищ её бурок, засовывая туда руку до самой шеи, разные деньги – бумажные, железные, –
которые ей опускали в бурки за то, что она разгадывала сны, открывала всякие тайны, гадала на картах, лечила кур, гусей и старух, что-то нашептывая над ними. Цыган был сыном Маленькой Махоры, которая тоже была цыганкой – но с цыганами в степи она никогда не жила. Не жила она и в доме, в котором, наверное, и не поместилась бы. Её мочил дождь, обдувал ветер; зимой, вся засыпанная приглаженным снегом, она была похожа на огромный сугроб, взбухший под домом после свирепой метели.

Я всегда смотрел на Маленькую Махору издалека – боялся к ней приблизиться. Меня пугало в ней всё – её черные с проседью космы, свисавшие на тулуп, по которому летом ползали бабочки и гусеницы, белки её полусонных коричневых глаз, подернутые мутной синевою, подвижные ноздри, шумно выпускавшие наружу клубы табачного дыма, которые в безветренную погоду ещё долго висели плоскими сизыми облаками возле её верхней губы, покрытой глубокими вертикальными трещинами и морщинами.

Ни за что на свете я не решился бы заговорить с Маленькой Махорой. Но разговаривать с ней мне пришлось.

Это случилось в самый разгар моей несчастной любви к попадье Анюте, когда каждое утро я просыпался с мыслью, что сегодня обязательно увижу её и даже скажу, что люблю. Но напрасно я караулил её возле верхней колонки, что стояла в начале спуска Разина, недалеко от церкви: за водой с двумя вёдрами на коромысле выходил поп Васёк. Напрасно кидал камешки в деревянные ставни, когда попадья Анюта оставалась дома одна: дом, скрывавший её в своих толстых стенах, терпеливо молчал, не отзываясь ни единым скрипом, ни единым звуком. Снова и снова я оказывался возле этого дома, потому что не находил себе никакого другого занятия, как часами смотреть на него, просунув голову между прутьев церковной ограды. Я перестал играть в айданы, забыл о марках, забросил рыбок, которые теперь плавали в мутно-зеленой воде, объедая грязь со стенок аквариума и иногда всплывая вверх животами. По ночам я уже не грезил, а просто плакал от отчаяния, оттого, что рядом со мной нет попадьи Анюты. Моя любовь, к которой поначалу лишь осторожно примешивалось чувство лёгкой и светлой тоски, превратилась теперь в сплошную тоску, от которой не было никакого спасения. Все чаще и чаще я слышал, как Ната говорит бабушке Анне, что я плохо ем, плохо сплю и что я, наверное, заболел чахоткой. «Как наш папа», – шептала она, пугая бабушку Анну, и без того боявшуюся самого этого слова чахотка, которым называлась болезнь папы – того худощавого, с плёткой в руке и гордо-злыми глазами на скуластом лице невысокого человека в погонах и портупеях, которого я видел только на фотографии и о котором бабушка Анна говорила, что он есаул и мой прадед.

Меня теперь утешало только одно – та мрачная радость, с которой я думал о том, что я заболею *есаульской чахоткой* и умру. И вот тогда, думал я, попадья Анюта узнает – ей расскажет об этом мой верный друг Родя, – как я сильно любил её и как мучился из-за неё.

– Ну почему, почему Васёк её прячет? Почему она не выходит на улицу? Когда я увижу её? – хмуро спрашивал я у Роди.

Родя на это пожимал плечами и предлагал мне пойти на Аксай, переплыть на другую сторону и спрятаться там в заброшенном ржавом катере, чтобы увидеть оттуда, из круглого окошка, затянутого крепкой паутиной, как загорает голой на песчаной ребристой прогалине в камышах сестра Енота.

– Спроси про свою Анюту у Маленькой Махоры, – посоветовал мне однажды Родя. – Она всё знает. Только деньги не позабудь – без денег не подходи к ней.

– Почему?

– Она на тебя наступит ногой и раздавит. Или прикажет цыганам, чтобы они тебя украли и увезли в степь. Будешь у них танцевать по ночам и сапоги им чистить. Понял?

– А много ей надо денег? – спросил я.

– Не знаю. Много, – брякнул Родя. – Телескоп вон продай Еноту.

В тот же день я отправился искать Енота, самого жадного и хитрого меняльщика в округе. Как и Маленькая Махора, он жил на Аксайской улице. Но найти его там было почти невозможно. «Гайдает гдей-то!» – отвечал в любое время его одноглазый дед, беспрестанно чинивший ставни на окнах.

К полудню я уже ненавидел эту сонную и безлюдную Аксайскую улицу, чьи дряхлые домики – все, казалось, лежавшие на стенах от страха свалиться вниз, – кое-как лепились к крутому склону холма, там, где склон, выказывая жёлтый сыпучий ракушечник, завершался расщелинами и обрывами. Я спускался в эти расщелины по узким тропинкам, выводившим к берегам Аксая, заглядывал в полузаброшенные сарайчики на задних дворах, излазил тесные, заросшие кустами проулки между дворами. Енота я нашёл только вечером на дне глубокой балки, где он бесцельно палил костёр. По моим свежим царапинам, запылённым сандалиям и частому дыханию Енот тут же понял, как долго и упорно я его искал. Он даже не глянул на телескоп, который я держал в руках, гудевших от неотлучной тяжести. Когда же я сказал, что продаю его, Енот изобразил на лице такое угрюмое равнодушие, как если бы речь шла о дымящейся головёшке, которую я только что подобрал с земли... Главную драгоценность в округе я продал всего лишь за три рубля! Больше Енот не давал, как я ни упрашивал его.

Выбравшись из балки, я пошел по Аксайской улице прямо к бабке Махоре, зажав в кулаке эти три рубля одной истертой бумажкой, добытые с таким трудом и с такими жертвами. Прощай, Луна в узорчатых серых пятнах! Прощай, Венера, сияющая бирюзовой бусиной в центре дрожащего тёмного круга!

– Дурень чёртов! Гэть отсюда! – вот и всё, что я услышал от Маленькой Махоры, когда, приблизившись к ней, показал на ладони деньги и спросил отстранённо, как у каменного изваяния, полюбит ли меня попадья Анюта и скоро ли я увижу её?

На следующий день, ранним утром, когда я понуро шёл вниз по спуску Разина к Аксайской улице с альбомом марок под мышкой и полными карманами айданов, чтобы выменять у Енота назад телескоп, Маленькая Махора ещё издалека поманила меня к себе рукой. Я подбежал к ней, остановился в трёх шагах от неё.

– Анюту любишь?.. Зимой её увидишь! На санках с ней полетишь, у-у-ух! – сказала Махора и захохотала, затряслась – так, что с её тулупа посыпались на землю сонные бабочки...

Зимой меня уже не мучила моя любовь. Я даже не вспоминал о попадье Анюте. Я радовался снегу, морозам, пьянящему жару от высокой выбеленной печи, возле которой бабушка Анна сажала меня на крохотной скамейке, как только я приходил с горы, чтобы передохнуть, съесть пирожок, обжигающий нёбо распаренной курагой, взять на заслонке сухие, окостеневшие варежки и снова бежать с санями на гору, к Александровской церкви.

Снежными январями на горе уже после обеда был шумно и тесно. А ближе к вечеру на вершине спуска Разина, у церковной ограды, в подвижной взвизгивающей толпе, из которой то и дело кто-нибудь вырывался и летел на санях вниз по плотному снегу, местами раскатанному в чернеющий лёд, можно было встретить обитателей всех окрестных улиц и переулков. Тут был и Енот, который летом не расставался с Аксайской улицей, и его старшая сестра, долговязая сутулая студентка, которую называли по прозвищу братца Енотихой, – она была старше Енота на десять лет, ровно на столько, сколько было самому Еноту, но он почему-то злобно командовал ею: «Пальто застегни, сучка!», «Рейтузы подтяни, мокрощёлка!» – выдёргивая при каждом слове вперед свое крохотное заостренное личико в грязных подтеках; были тут и лихие Володины друзья Паша Черёмухин и Федот Мокрогубов – *Черёмуха* и *Мокрогуб*, – они бесстрашно катались в полный рост на ногах, гикая на ходу и куря сигареты, брызгавшие алыми искрами; были Саша и Олимпиада, которые то и дело подсаживались сзади на чьи-нибудь санки и, растопырив ноги, обтянутые длинными сапогами, неслись в сверкающем облаке снежной пыли с пронзительным визгом и задорной руганью, сыпавшейся на голову переднего седока: «Сука! Пацан! Куда рулишь, собачонок? Жопу мне отобьёшь!»; были Троня и немой Фирс, молча и с суровой важностью упорных работников ездившие по спуску вдвоем на громыхающем листе железа; были маниловские близняшки – обе одинаково растрёпанные, раскрасневшиеся от жаркого веселья на морозе. Было множество знакомых и полузнакомых лиц. Зимние торопливые сумерки быстро меняли окраску морозного воздуха; сначала янтарный, он вдруг становился розовым, потом зеленоватым, всё в нём казалось тонким, непрочным, исчезающим, таким же, как белесый полупрозрачный месяц, висевший в пустых небесах завитком дыма. Но уже в следующую минуту небеса окроплялись ранними мелкими звездами и в густой предночной синеве отчётливо вырисовывались темные ветки деревьев, антенны и трубы на заснеженных крышах; ярко проступали выбеленные колонны Максимовской ротонды и вспыхивали округлые макушки обочных сугробов, посеребрённые бледным светом из мутно сияющих, заиндевевших окон. Катание в это время было в самом разгаре.

В такое время и вышла однажды с пустым ведром из-за церковной ограды попадья Анюта. Я увидел её как раз в ту минуту, когда поравнялся с верхней колонкой, поднимаясь с санями в гору. Наклонив голову, Анюта шла мне навстречу мелкими торопливыми шагами. Она была в белом пуховом платке; из-под серого кроличьего полушубка на темно-зелёные ботинки с медными пряжками спускалось то же самое – чёрное, узкое – платье, в котором я видел её летом. Знакомый шрам, множество раз возникавший в моих грёзах, мертвенно белел на её зарумянившейся от мороза щеке. Моё сердце застучало дробно и гулко; оно провалилось в какую-то бездонную яму, когда Анюта, приблизившись ко мне, вопросительно взглянула на меня: я стоял на её пути, прямо на узкой дорожке, посыпанной угольной жужелицей, не в силах сдвинуться с места.

– Посторонись, – сказала она, подождав немного и пощупав кончиком ботинка лёд за кромкой дорожки.

Но вместо того чтоб посторониться, я с неожиданной для себя решительностью быстро произнес слова, которые за мгновение до этого и не думал произносить:

– Я тебя знаю, ты Анюта, жена попа Васька.

– Не попа Васька, а отца Василия, – спокойно поправила она. И тут же улыбнулась, засмеялась. – И не жена вовсе.

– А кто?

– Много ты хочешь знать, мальчик. Пусти...

– Не пущу. Говори – кто?

– Ой, какой злой выискался, – усмехнулась Анюта и поставила рядом с дорожкой на лед звякнувшее ведро. – А вот ты Алексею Мироновичу – кто?

– Какому Алексею Миро... Лёсику, что ли? Племянник.

– И я племянница отцу Василию... Санки у тебя красивые, – вдруг добавила она без всякой связи.

– Ага, – самодовольно подтвердил я.

Сани у меня были действительно не такие, как у всех в округе – не железные и низкие с разноцветными рейками, а деревянные, высокие, с деревянными же круто загнутыми полозьями. Их привёз из Латвии Екабс и подарил мне вместе с мазью, которой я натирал полозья. Никто не мог обогнать меня на горе. Мои сани скользили легко и бесшумно – так, что я слышал за спиной только шуршание снежного вихря, поднятого ими.

– Хочешь прокатиться? – спросил я.

Анюта пожала плечами.

– В Махору боишься врезаться? – догадался я.

– Боюсь, – кивнула Анюта.

– Не бойся, поедем вместе. Я буду рулить.

Мы поднялись с ней к церкви на утоптанную снежную площадку. Я установил сани. Анюта, высоко подобрав подол платья, села на них верхом. Я устроился впереди, раздвинув спиной её колени, обтянутые коричневыми ребристыми чулками. Кто-то из толпы подтолкнул нас. Как только сани нырнули с площадки на раскатанный лёд, Анюта вскрикнула и крепко обхватила меня руками.

Сани не сразу набрали привычную скорость. Но когда мы пролетели первый перекрёсток – спуска Разина и Архангельской улицы, – мне уже казалось, что я никогда в жизни не мчался с горы так быстро. Я задыхался от радости и волнения. Внутри меня то проваливался в живот, то поднимался к ключицам какой-то мягкий, сладостно подвижный ком; в лицо впивались снежные искры; разрозненные огни в окнах по обе стороны спуска сливались от скорости в сплошные сияющие гирлянды. Мы мчались все быстрей и быстрей. Но до конца горы было ещё далеко.

Мы ещё не пересекли Кавказскую и только приближались к ротондам, где в моих летних, полузабытых снах стояла, раскинув ноги (сама выше ротонд), голая Заира, когда мне захотелось убедиться, что теперь я не сплю, что мне не снится, будто я качусь на санях с Анютой, что вот она – рядом, здесь за моей спиной! Я обернулся, чтобы увидеть её лицо, и в тот же миг почувствовал, понял запоздало, как понимают во сне, что целую её, целую в губы, ощущая губами твердый желобок её шрама... Этот нечаянный поцелуй длился, как мне казалось, одно короткое мгновение. Но когда я глянул вперёд, я увидел, что мы давно уже пролетели и ротонды, и Кавказскую улицу, и то место напротив дома немого Фирса, где нужно было затормозить и свернуть в боковой сугроб, чтобы не врезаться в бабку Махору. Мы неслись прямо на неё... Я не сразу почувствовал стеклянно-режущую боль, протянувшуюся от ступни до колена в правой ноге, которую я выставил, чтобы развернуть сани. Снова я думал с той особенной отстраненностью от совершающегося события, какую мысль обретает во сне. Думал о том, как нелепо и беспомощно мы выглядим сейчас с Анютой – летим, кувыркаемся, бьёмся о снежные кочки и друг о друга, а где-то над нами летят и кувыркаются в воздухе сани, развернувшиеся и перевернувшиеся вместе с седоками...

Боль я почувствовал только тогда, когда всякое движение прекратилось, когда мы с Анютой лежали под ногами бабки Махоры, ударившись об её громадные бурки, с которых на нас обсыпался снег. Мы лежали рядом и смотрели в небо. Вокруг было удивительно тихо и ясно от ночного высокого месяца. Бабка Махора молчала. Она даже не шевельнулась. Она крепко спала.